

## АЛЕКСЕЙ БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

### I

Евфимий был знатный римлянин, полный и благодушный. Жил широко в великолепном доме у подножия Авентина. Любил гулять в своих садах, где кипарисы окаймляли Тибр, беседовать с философами, в жару сидеть под портиком и слушать флейту, запивая ледяной водой шербет. Все делалось вокруг легко и просто: кто-то подавал ему сандалии, застегивал одежду, накрывал на стол. И сами появлялись вина.

Тридцать лет правила домом его жена, белая, красивая и добрая, такая же дородная, почтенная, как муж. Сотни рабов прислуживали ей. С ними обращались хорошо. И им завидовали рабы других господ.

Каждый день Евфимий выставлял несколько столов для бедных - - вдов, странников, детей, убогих. Правда, было это вблизи кухни и далеко от жилых покоев. Иногда он, улыбаясь, важно и приветливо проходил мимо обедающих, и те славил его. В другие дни, когда они слишком шумели, а он хотел читать возвышенное или поэтическое, то удалялся в сад, к Тибру, где у него был выстроен небольшой домик. Здесь шумел вечным, милым шумом Тибр. Евфимий безраздельно отдыхал за чтением — от своей роскошной жизни.

Он полагал, что просвещение вещь величайшая. И к его сыну Алексею приходили ежедневно риторы, грамматика, философы. Диакон Петр из церкви Св. Пуденцианы, огромный и лохмато-добродушный, обучал его катехизису.

Алексей не был красив, как мать, и крупен, как отец. Казался даже слабоват. Не совсем правильная голова, с огромно-выдававшимся затылком. Глаза шире расставлены, чем надо, серые, с тонкими веками, иногда некрасивые, иногда вдруг заливались светом и воодушевлением. А улыбался он застенчиво. К философии и священной вере имел крайнее влечение. Особенно был им доволен высохший, как обезьянка, грек философ Хариакис и диакон Петр.

— Не утомляй себя, — говорил отец. — Жизнь длинна. Посмотри на меня. Мне пятьдесят, а я молод, потому что никогда не признавал излишеств. Во всем мера. В этом мудрость и залог здоровья, силы, счастья.

Алексей слушал почтительно. Не возражал и занимался своим делом с твердостью, восхищавшей Хариакиса.

— Ах, — говорил тот, дыша чесноком, голову, взглянула на мать карими, несколько близорукими глазами, захохотала.

— Аркаша нас защищает от бандитов? От нападения разбойничков?

И, слегка щуря глаза, взяла руку Анны, вполголоса сказала ей:

— А я думаю, что бандиты вовсе не опасны.

— Опасны, не опасны, а темноты захватим, это уж как пить дать.

— Да, — спохватилась Марья Гавриловна, — а я еще самого главного вам не сказала... тут все свои... — Она оглянулась. — Я захватила кое-какие вещи, знаете, у нас там совет под боком, того и гляди... вы не будете добры спрятать? Ну, временно подержать у себя?

—Да, мамаша, к делу, — сказала Леночка. —Матвей Мартыныч, вы не откажете? Пойдем посмотрим.

Через несколько минут Матвей Мартыныч тащил уже по двору небольшой, но очень тяжелый чемоданчик и плед в ремнях. От напряжения на виске его надулась жила.

— Кое-что таки набралось, — говорил он довольным тоном. — Надо схоронить. Мы таки схороним. Кое-что набралось.

Ему очень нравилось, что вот у кого-то что-то есть. Марья Гавриловна вполне могла быть покойна за свое добро.

— Все с вами пересчитаем, запишем, под расписочку примем, чтобы не вышло потом чего...

Аркадий Иваныч отвязал свою лошадь и сел на Дрожки.

— Я тебя подожду там на выезде, у ракиты, —шепнул он Анне. — Пройди садом.

Анна покорно кивнула, темные ее глаза покрылись влагой. Пока в столовой шел подсчет серебра, Ценностей, воротников дорогих шуб, она вышла в сад.

Сад в Мартыновке находился по другую сторону Дома, и это был иной мир.

Хоть и сюда доносилось хрюканье свиней, все же яблонеый сад, времен далеко домартынов- что за мальчик! Родился философом. Если бы не дурак Петр... но что смыслит этот невежда?

Хариакис с высоты своего рваного плаща и греческого нищенства не выносил римлян.

—Юноша, — обращался он к Алексею, — в тебе пламя божественного Плотина! У тебя затылок философа. Но увы, тебе надлежит жить, прости меня, в этом мерзейшем городе, рядом с которым наша Беотия или Коринф — столицы. Многого я от тебя ожидаю, но запомни: мир дряхл и Рим твой, хоть и груб, но стар и развращен, клянусь лучшей луковицей моего прежнего огорода в Пиргосе! Натащил себе богатств со всего света, сел на них, икает, пьянствует и думает: я лучше всех. А вот я, Аристид Хариакис, поклоняющийся Плотину, я, кого вчера рабы Рутулия Фигула чуть не избили за то, что я нечаянно задел плащом, проходя, их господина, я кричу: довольно, суд идет! Довольно преступлений и насилий, жадности, богатства, зверств. Так сказано и в вашей, христианской книге, где пророчество о городе. Прибавлено, что это Вавилон. А я тебе говорю: Рим! Ах, что за люди! Что за жизнь!

Хариакис завернулся в плащ свой рваный и торжественно вышел. Он был такой маленький и тщедушный, что его можно было бы, как игрушку, положить в карман, но надувался величаво и, вздыхая по своему огороду в Пиргосе, шел бродить в сумерках по темным улочкам у театра Марцелла, где слонялись подозрительные личности. С ними заводил он шашни. И в вонючих кабачках запивал козий сыр вином, громил богатство, роскошь и пресыщенность. Иногда надоедал, и его били.

## II

Чтобы как следует понимать жизнь, Алексей был еще молод. Он слишком мало ее знал. Но слишком резко из нее выделялся, как выступал его затылок из числа других. Он очень любил мать и отца, но ему скучно было бы так важно, благодушно шествовать под портиком или смотреть, как под надзором матери ключницы складывают в кладовые тонкие полотнища холста.

Он лучше и счастливей чувствовал себя на убогом холме Эсквилина, в смиренной церковке Св. Пуденцианы на вечерне или за стенами Рима, нежной зарей, в виноградниках и кипарисах катакомб. Кто-то был с ним, светлый и таинственно-великий. Свечи золотистее теплились в церкви, обольстительней алела тучка на закате. Возвращался он легким и радостным.

— Хороший юноша растет у нас, — говорил жене Евфимий, — но слишком он далек от жизни.

Аглая успокаивала:

— Женится, будет семья, все наладится.

В дородности и красоте своей она считала, что жена, дети, спальня и столовая все одолеют.

И принимала меры.

Цвели персики и миндаль, по голубому небу римскому неслись пухло-рваные, белые облачка, когда в портике своего сада, в тонком узоре теней от молодых померанцевых деревьев, увидал Алексей Евлалию. Девушка шла с матерью и Аглаей. Была довольно высока, широкоплеча, ночной черноты волосы, синие глаза. Держалась строго и покойно. Алексей рассмотрел крепкий очерк лица с завитками волос, глубокую впадину между ключицами, несколько полные и тяжеловатые ноги.

Он ничего не нашелся сказать ей. Видел только, как на него поднялись два синих глаза, с оранжевым ободком на зрачке, и посмотрели внимательно. Сладкой прохладой на него пахнуло. И сердце слегка поплыло.

Вечером в церкви Св. Пуденцианы он был особенно счастлив. Даже когда закрывал, молясь, тонкие веки, что-то сияло сквозь них.

Дома его подозвал отец.

— Нравится тебе эта девушка?

Алексей слегка побледнел. Опустил глаза, пробормотал что-то невнятное.

— Ну вот, — говорил позже, в спальне, укладываясь на ночь, жене Евфимий, — видишь, я никогда не ошибаюсь. Разве не говорил я, что Евлалия непременно ему нравится?

И покойный, довольный, лег на свое ложе — многие годы делил он его с Аглаей. Приятно было, что Алексею нашел тоже жену, и хорошую. Оставит ему состояние, дом. Жизнь его будет приятна, легка, как его собственная.

Евлалию также спросила о женихе мать. Та немного задумалась и вздохнула.

Да, это странный... и необыкновенный юноша.

## III

По вечерам, перед сном, Алексей молился. Призывал, как с детства был приучен, силы добрые на отца, мать, себя, близких, не забывал даже маленького, сморщенного Хариакиса. Поминал умерших. И заканчивал молитвой о Риме, о своем народе. Теперь ко всему этому прибавилось имя Евлалия — тихо и с нежностью.

Как было принято, они видались редко, мало и говорили. Он хранил все-таки влажное прикосновение ее руки, сдержанно-ласковый блеск глаз, запах лаванды, отпечаток сандалии на песке дорожки, черный крутой локон над ухом. Узнавал ее издали по широковатым плечам, твердой поступи. Ему казалось, что в ее синих глазах с оранжевым ободком — прохлада, чистота, ласка.

И он знал уже, что она будет его женой. Это волновало — он закрывал широко расставленные свои глаза с тонкими веками, как у ребенка.

Хариакис заметил, что Алексей не в себе. Их уроки кончались. Грек был печален.

— Женят тебя, засядешь в спальню, дети пойдут... Нет, если быть философом, то домашние дела побоку. Вот и я... Ах, отчего я не у себя в Пиргосе, я ходил бы, окруженный прекрасными юношами, мы рассуждали бы о Порфирии, Плотине, Ямвлихе, ели бы чудесные фиги и гранаты... Ты имеешь вид сонный и отсутствующий, я знаю, о чем ты думаешь...

Алексей медленно открыл глаза, точно вышел на поляну. И потер лоб.

— Учитель, не говорите так.

Его стеснял теперь сморщенный грек. И он даже рад был, что они расстанутся. Что-то набиралось и бродило в нем. Хотелось одиночества. Он чаще выходил на берег Тибра, смотрел, как солнце нежит камыши, блестит в струях, — волнение его вздымало.

Особенно было оно сильно в день свадьбы. Алексей мало понимал, что происходит, слушался родителей, в тумане делал все, что полагается, и сказал «да» в церкви, и отсутствующим взором видел, как надел кольцо священник на знакомый твердо-розовый палец Евлалии, как дышала ее грудь, вздрагивали ресницы. Необычайный, матовый блеск был разлит по ее лицу. Что это значило все? Что происходило?

Свадебный обед очень затянулся. Евфимий был доволен, важно, благодушно угощал. Все шло прилично. Только Хариакис на дальнем столе, у выхода, перепился, и его пришлось вынести. Он ругался и обозвал всех мошенниками. Но в шуме, общем смехе, это мало кто заметил.

Когда Евлалия с подругами ушла переодеваться, Алексей поднялся, незаметно вышел. Удалился в узкую аллею померанцев, буксов стриженных, зашел в дальний угол сада, к домику отца и кипарисам перед Тибром.

Трепетаньем света, легкого и зыбкого, знойно-прозрачного, был полон воздух. Сверкали струи в Тибре. Камыши клонились и вздымались. И струило над домами, и дворцами, и садами Рима. Кое-где плавился золотой шпиг. Слепительный послеполудень...

Алексей остановился. Загляделся на двух бабочек, белую, желтую, круживших над шиповником, ветер то наносил, то вновь откидывал их. Потом

взор отошел на мутно-златистую рябь реки, ерошившуюся чешуей, поднял глаза, и точно воздух стал еще светлее, вокруг все наполнялось ослепительным сиянием. Знакомое, то чувство, что испытывал и раньше, но стократ сильнее, залило его. Он перехватил грудью воздух. Закрыв глаза и в светлой мгле с медленно плывущими точками так ясно ощутил, что с ним и в нем Тот, Некий, кого знал и ранее. Мгновение — показалось, он сейчас уж перейдет, не выдержит. Но стало легче. Он открыл глаза. В голове шум. Те же кипарисы, Тибр, камыши, свет, жара, лишь он другой.

Он медленно шел назад, к гостям. И когда проходил мимо любимого своего фонтана — два обнявшихся мраморных ребенка, из губ их струйками бежит вода, — все показалось дальним, точно бы подводным.

Близко к полуночи Алексея привели в спальню. У изголовья постели, убранной красными гвоздиками, курились, потрескивая, голубоватые огни. Из другой двери вошла Евлалия. За ней был слышен шепот, тихий смех подруг. Потом все смолкло. Они остались одни.

Евлалия села на постель, сложила руки на коленях и не подымала глаз. Тонкая жилка билась в углублении между ключицами.

Алексей подошел к ней, опустил и поцеловал руку. Полная нагая нога в сандалиии чуть не касалась его губ. Евлалия покраснела. Подняла руку и погладила огромный затылок Алексея. Мучительно прекрасна была она для него.

—Лучше тебя никого нет, — сказал. — Нет и не будет.

И тогда увидел ее глаза. Психея с нежностью, сквозь синеву, смотрела на него.

—Но я не могу с тобой остаться. Я должен уйти отсюда.

Психея подняла слегка голову. Широкие ее плечи выразили недоумение.

—Прости меня, — продолжал Алексей. — Быть может, я и оскорбил тебя. Но я не понимаю. А теперь Бог позвал, и я иной. Я люблю тебя, но не могу быть твоим мужем. Я не буду ничьим мужем. Я ухожу.

Психея удалялась, а Евлалия бледнела, крепче твердой рукой сжимала одеяло. Долго в молчании смотрели друг на друга. Затылок Алексея выросстал в глазах ее, на фоне света, голубовато-золотевшего. Вдруг что-то дернулось в ее глазах. Точно сорвалось с места.

—Я всегда чувствовала... думала... а теперь знаю...

Алексей снял обручальное кольцо и отдал ей.

—Храни его пока. Так надо.

Перекрестил ее, поцеловал в холодный лоб, точно вонзил кинжал, и вышел. В поясе его было золото и ключ от потайной калитки вблизи Тибра. Зачерпнул родной его воды, освежил лицо и в тишине, при отдаленном гуле Рима засыпающего, с отсветами зарев, зашагал мимо Тестаччио и пирамиды Цестия. Скоро только кипарисы у ворот как часовые остались на начавшем светлеть небе от великого, взрастившего его Рима. Да собаки лаяли. Пели вторые петухи.

## IV

Хозяин судна, на котором Алексей из Остии отплыл в Малую Азию, рыжебородый купец в кольцах, завитой и нарумяненный, хорошо расторговался и был весел. Целый день пил вино, хохотал, икал, спускался в трюм — любил собственноручно хлестать прикованных к веслам гребцов. Потом запирался у себя в каюте с новокупленной наложницей. Матросы тоже были полупьяны. Не стесняясь, предавались грубому бесчинству.

Алексей безвыходно сидел на носу, на гряде старых мешков. От них пахло еще пшеницей. Кипели белым дымом брызги, пена, и хлестали волны. Солнце радугой в них иногда вспыхивало. На губах соль и влага, в груди свежесть. Позади корабль, мачты со вздутыми парусами, хозяин, матросы, волнистая, зеленовато-бело-пятнистая струя и в голубом тумане берега Италии. Рим, дом на Авентине. Впереди бесконечные хохолки волн да неведомая земля.

Шли благополучно. Одному гребцу за грубость отрубили ухо. другого с пьяных глаз выбросили в море — проходила стайка акул, и любопытно было поглядеть, как они полакомятся. Раб просто утонул! Хозяин, протрезвившись, пришел в ужас — этот негр с серьгой в ухе стоил дорого. Он рвал рыжую бороду, дико ругался и грозил гневом Божиим.

В прозрачных, сиреневых сумерках вошли в гавань большого города.

Алексей рад был уйти с корабля — но и вокруг все было чуждо. Раздавался говор на гортанных, непонятных языках. Во мгле мелькали белые чалмы, тюрбаны, пестрые халаты, попеременно с римскими солдатами и моряками, колонистами. Он долго бродил в закоулках, шумных и распутных вблизи порта, молчаливо сонных выше, по горе. И все всходил, и, наконец, достиг заброшенных каменоломен. Внизу виднелись огни города, за ними темнота моря. Алексей примостился у камней. Так началась первая его ночь на чужбине.

Лежать было не мягко, все же он спокойней спал здесь, чем отец, мать и жена на родине.

Евфимий ничего не понимал. Исчезнуть так, в день свадьбы, не поговорив даже с отцом... Но для чего тогда венчаться? Откуда эти крайности? Точно нельзя быть добрым верующим и иметь жену? Все это мучило и огорчало. Чтоб развлечься, он старался больше играть в шахматы с наемным мудрецом, в домике у Тибра. Да, но это бросает тень на самый дом... Евфимий был просто расстроен и ударил даже раз раба, не с той стороны поднесшего ему щербет. Мудрец было поежился, но тотчас принял вид веселый, пошутил над киликийцем: как неловок!

Аглая похудела от волнений. Тоже мало понимала, но по-матерински и по-женски больше плакала, страдала, что не видит сына, не для кого хранить добро, хозяйничать и наводить порядки.

Евлалия же замолчала. Она прямо объяснила, с первых слов, в чем дело:

— Алексей святой. Я это давно знала. Будем ждать. Что Бог пошлет.

И как вдова, надела траур и осталась в доме Авен-тинском. Стала лишь бледнее, строже, много шила. Ямочка под шеей сделалась поглубже, но ходила она так же прямо, твердо, и такая же была прохладная и чистая — будто вновь

уснула в ней Психея, чуть разбуженная.

Алексей же обратился в нищего у храма Пресвятой Девы, в городе греческих и римских колонистов побережья Малой Азии. Храм стоял выше города, недалеко от каменоломен, где он ночевал впервые. Солнце заливало все здесь легким, трепетно-прозрачным светом. Ослепительно сияли в нем дороги. Слева море, смутной и дышащей синевы, с белой россыпью узеньких парусов, внизу плоские кровли домов с кактусами, пальмами и кипарисами, несколькими базиликами и уцелевшим римским амфитеатром, а правей, в сизо-серебряном тумане — сухой и жгуче-каменистый край, красными пластами обнажающийся к морю. Кое-где рощи, виллы разбогатевших купцов. Дрожащий раскаленный зной.

Нищие сидели с чашками для подаяний. Тень паперти, синяя, защищала их. Светящий воздух обжигал. Иной раз на руку садился белый голубь, а потом взлетал к уступу колокольни.

Алексей сразу же роздал все, что захватил с собой из Рима. Если собирал более, чем на день, излишнее делил между товарищами. Ночевал в каменоломнях. И молился больше, чем на родине. О многом мог молиться. С высоты холма Богоматерь, покровительница моряков, благословляла мир, и он лежал синеющий, благоуханный, — а внизу эти же моряки торговали женщинами, и рабами, и детьми, дрались и напивались, убивали и насиловали. Алексей ходил иногда вечером по глухим улочкам и закоулкам порта. Перед освещенными входами сидели девушки, почти нагие, зазывали и кричали. Выбегали на середину, подымали платья. Из домов с красными фонарями неслась музыка, пьяные крики. Пахло нечистотами. Над головой же подымалось небо с потрясающими звездами. А рядом порт. В нем корабли с красными парусами привозили, развозили по всему свету шелковые ткани, золотые украшения, жемчуга, предметы из слоновой кости, гребни, краски.

Алексею лучше было на холме около храма. Он нашел недалеко и полюбил небольшую рощицу из фиговых и тутовых деревьев. Росли они на почве скудной, каменистой. Тем трогательней были сочные, трехлопастные листья фиги, жирно-блестящие у тута. Фигами нередко он питался. Тутовые ягоды, падая на землю, усеивали ее как бы чернильными орешками.

Под непрерывный звон цикад, удивительный своей неутомимостью, Алексей подолгу сидел в тени ро птицы, смотрел на море. И в нем трудно было бы перь узнать холеного юношу из дворца Евфимия.

Одежда изорвалась, лицо обгорело, черная борода разрослась по щекам, некогда нежным. Даже затылок не так выдавался, прикрываемый курчавой шапкой волос. И лишь глаза сильней, взрослей блестели.

Рабы Евфимия, посланные на розыски, не обратили на него внимания. Дворецкий, что когда-то подавал ему жареных куропаток, начиненных грудинками сицилианских перепелок в кисловатом соусе, -равнодушно бросил драхму бородатому нищему на паперти Богородицы Утешения Моряков. Алексей же поблагодарил Бога, что довелось ему получить милостыню от собственного раба.

Так проходили годы, мало он их замечал. Вставало и садилось солнце, луна изменялась, в гавань приходили корабли и уходили, люди богатели и нищали, умирали и рождались. Алексей ставил свечи Богоматери, много молился, мало ел, подолгу сидел на паперти со своей кружкой. Голуби вились над его головой.

Однажды он был очень удивлен: к нему подошел маленький, сморщенный и иссохший человек без возраста.

—Ах, нехорошо забывать прежних друзей и учителей!

Но Алексей отлично узнал его. Хариакис, правда, мало изменился, да и мало преуспел за эти годы. От него так же пахло чесноком, и так же был заплатан его плащ, в седой щетинке подбородок.

—Ну, значит, плохо я тебя учил! После Плотина —паперть, чашка, рубище... И ты доволен? Тебе нравится сидеть здесь, среди всех этих бездельников?

— Да, я доволен.

—И собирать жалкие гроши?

Алексей наклонил голову.

—Ах, понимаю! Ты не просто же сидишь, ты этим отрицаешь прошлое, богатство, семью, родину...

—Я делаю, что мне указано.

—Ну, да, вы все, юродивые, говорите так. Пожалуй, тут есть даже смысл... Но все таки родиться сыном Евфимия, изучать философию и красноречие, чтоб оказаться на паперти... Впрочем, я же сам громил тебе богатых. Я еще менее сейчас люблю их. Но теперь я поумнел. Ни философиями, ни сидениями тут не поделаться ничего. Нужно другое. Хариакис оглянулся.

—Слушай, я хочу с тобой поговорить, но не на людях.

Под вечер они сидели в тени фигов и тутов, в Алексеевой любимой рощице. Зной спадал. Цикады верещали. Над дружным, серебристым хором их в остервенении захлебывались басом несколько особенно взъяренных. Далеко, в красных выемках каменоломен, работали полунагие люди. Неземной лиловатостью были одеты горы, и над изумрудом моря у побережья, над каймой пенных кружев брезжила мгла белесая.

—Это и называется Божий свет, который ведь я должен принимать, меня сюда назначили! Я созерцаю Божество вместе с Плотиной, и я рад бы стать пневматиком и духоносцем, но... ведь кушать надо! А со всеми гностиками — я же нищий, не на что хлебнуть глоток вина, не говоря уже о поцелуе юных уст. А между тем все эти... Он указал на белевшие по склонам виллы — среди кипарисов, миртов, роз.

—Я их ненавижу! Грабители! На чужом поте взошли. Знаешь, — он живо обернулся к Алексею, — я поучал тебя, что Рим обречен, но теперь, когда судьба продолжает меня мыкать, когда я зарабатывал хлеб и писцом, и глашатаем, и сводником, — я возненавидел всех богатых, в Риме ли, Александрии, Тарсе, где угодно. Мир прогнул, надо его разрушить!

Хариакис сделал театральный жест, точно бы сбрасывал рваную хламиду, и, приблизив лицо к самому носу Алексея, срезал себе правой ладонью пальцы левой — для последней убедительности. Желтые глаза его были безумны. Он



обрызгал Алексея слюной.

—Я не один. Нас много. Тоже недовольных, жаждущих... И это не впервые здесь... Но ранее, как следует, не удавалось. А теперь мы оснуем новое государство... лучше, чем Платонове, Нищие все за нас. Составь дружину и присоединяйся. Мы порастрясем всех, кого следует.

Алексей молчал. Хариакис продолжал убеждать. Ответа все-таки не получил. Тогда он вспотел, раздражился, несколько раз набрасывался на него, потом утих, обозвал дурачком и в наступающих сумерках исчез так же внезапно, как явился. Алексей же сидел долго. Зажигались огни в городе, на судах в порту, красные, зеленые. Южный сумрак синел. Смутно белели в нем дороги. Наплывала теплая струя, и в потемневшем небе звезды разлегались вечными узорами.

Алексей улегся спать под ними. Как обычно в долгих годах чистой и суровой жизни, ощущал себя легко, и жестокая земля не отгоняла. Лишь когда вспоминал Хариакиса, некое облачко находило на душу.

Ему суждено было разрастись.

Через несколько дней, у себя на паперти, услышал Алексей разговор двух купцов — они спешно погружали семьи на корабль и уходили — по побережью двигались отряды взбунтовавшихся. Заметил Алексей, что меньше стало и его товарищей по нищенству. А через две недели в городе уже шла резня. В церковь спасались перепуганные женщины. Море бессмертно синевело, ветерок широко морщил его, тот же ветерок нежно гнал тучи дыма от горевших — не впервые! — вилл. Все шло, как полагается. Те, кто работали в каменоломнях, в гавани, стали хозяевами города. Как издавна заведено, бросали в море богачей, негры насиловали женщин, а сирийцы дико пьянствовали. Ночью прекраснейшие зарева светили отовсюду. В гавани, у домов разврата, стоял непрерывный вой. Было правительство: цирюльник, беглый солдат и философ Аристид Хариакис — имя его часто слышал Алексей.

Продолжалось это не так долго. Подошли римские войска, явился флот — Алексей видел тяжкие триремы — важно, холодно входили они в порт на веслах. И пожары прекратились. Кровь же полилась рекой спокойной и обратной. Выйдя раз на прибрежную дорогу, Алексей увидел длинный ряд платанов. Ветви их были обрублены. На стволах, как гроздь страшных фруктов, уходили вдаль тела распятых. На одном из первых же деревьев висел сморщенный человек с раздробленным носом и разорванной губой, с седой щетинкой заросшим подбородком. Нелегко признать в нем было Аристида Хариакиса.

## VI

Алексей был очень грустен. Даже реже он ходил теперь в свою рощицу, меньше глядел на город, на море. Он еще усерднее молился, много времени он проводил перед образом Пречистой в церкви.

И однажды в храме раздался голос Ее:

—Приведите ко мне человека Божия. Ибо Дух Божий на нем, и его молитва угодна Господу. Молитесь, молитесь, подражайте ему, ибо весь мир нуждается в очищении.

Священник прервал службу, хор остановился. Все были в недоумении. Кто человек этот? И где находится? Голос прибавил:

—Не ищите его в храме. Он сидит на паперти, с чашкою в руке.

Привратник догадался.

—Этот тот, — сказал священнику, — нечесаный, с большим затылком. Он семнадцать лет уже сидит у храма.

И пошел за Алексеем.

—Иди, — он взял его за руку. — Сама зовет тебя, Пречистая.

Алексей плохо понял, но пошел. Народ расступился перед ним.

—Вот человек Божий! Посмотрите на него, человека Божия!

Священник его обнял. Народ по-прежнему приветствовал. У женщин были слезы на глазах. Алексей земно поклонился образу Пречистой, поскорее вышел в боковую дверь у алтаря. «Человек Божий!» Огненный крест стоял в его душе, она была в сиянии. И та же сила, что когда-то, в ослепительный послеполу-день, подняла его на берегу Тибра, взяла и теперь. Он снова стал иным.

К вечеру Алексей спустился в гавань.

Город не казался уж ему своим. Как будто он вчера в него приехал, день просидел со своей чашкой, завтра уедет. Облачка, в огневом золоте, медленно плыли на север. Он поглядел на них, и в сердце у него что-то сказало: Таре. Он подошел к матросам. Загорелые, в колпачках, фесках и с серьгами в ухе, они сидели на канатах вблизи пристани и медленно ругались.

—Таре! — мрачно сказал один. — Ишь куда собрался. Там, брат, чума.

Кто мрет, а кто бежит. Некому мертвых подбирать, не то что за больными уж ходить.

—Вот хорошо. Я буду ходить за больными, убирать мертвых.

Моряки переглянулись.

— А-а, — вспомнил один, с ямой шрама на щеке, -это юродивый, головастый, с паперти Богородицы. Возьмем его. Пресвятая нас поддержит.

И Алексея взяли с тем, что высадят у Тарса, сами пойдут дальше.

На другой день отплыли. Храм Богородицы долго виднелся на холме, казалось, благословлял плавание. Моряки могли думать, что Пречистая поможет им устроить все дела. Но вышло по-другому. К вечеру поднялась буря, и не только Тарса не увидел Алексей, но не увидели и моряки города, куда шли, а корабль несколько суток колотило по волнам, и раздраженные матросы выбросили б Алексея в море, если бы не ослабели сами. На восьмые сутки, когда стихло, подобрало их судно, шедшее в Остию.

Так Алексей снова попал на родину.

Через два дня с котомкой, палкой на заре вечерней подходил к корчме недалеко от Рима. Там решил ночевать. Скучно поужинаяв, вышел мимо

сеновала в огород с капустой и латуком. Рядом начинался виноградник. Прислонившись к невысокой стенке, отделявшей его, Алексей вздохнул глубоко. Было влажно. Пахло овощами и сырой землей, таинственной близостью болот и моря. Небо полно крупных звезд. Там, между двух тонких кипарисов, где оно светлее, Рим. Вот — город цезарей, апостолов, ристалищ, катакомб, безумия и святости... Как громил его Хариакис! Великий, но и страшный Рим. Ну, что ж, вперед, под кровом Богоматери.

И утром, столь знакомыми воротами у пирамиды Цестия, мимо Тестаччио, нищенскими кварталами он вышел к Авентинскому холму.

Все тот же Рим, все тот же Тибр. Те же полощут белье прачки, так же ходят колесом по улицам мальчишки и сапожники сидят на табуретках в крошечных своих закутках, так же ветер шумит лаврами, дубами Палатина и сгибает легкой дугой стройные кипарисы сада Алексеева отца. И по стене так же легкоупруго ходят тени их.

Алексей попал в час завтрака. Как в годы его детства, под открытым небом вблизи кухни было выставлено три стола для бедных. Старухи, дети, два юродивых, несколько пилигримов с запыленными ногами, слипшимися волосами хлебали суп бобовый, заедая хлебом. Рабы носили блюда жареной козлятины, вкусно дымящиеся. Евфимий проходил, совсем седой, как прежде, милостиво важный, но задумчивее, как-то тише. Рядом с ним шел философ.

Алексей поклонился.

— Господин, — сказал, — я издалека, но наслышан о тебе. Прими меня в свой дом. Я буду на тебя работать и питаться крошками с твоего стола.

Евфимий посмотрел на него, сказал философу:

— У меня некогда был сын. Глаза этого странника так же широко расставлены, как у него. Да, но того, наверно, нет в живых. Мои рабы не могли его найти.

И, обратившись к Алексею, разрешил остаться. А потом в грустной сосредоточенности проследовал с философом к своему домику у Тибра.

— Мой сын был очень чистым и хорошим юношей. Но не хватало ему чувства меры. Вот так-то, друг мой.

Я богат, знатен, но с тех пор, как Алексей ушел, как умерла жена, мне остается только отводить душу в чтении да разговорах с людьми вроде тебя.

А в это время Алексей шел по другой дорожке сада. И не очень удивился, когда из-за куста азалий показалась перед ним высокая фигура женщины с широкими плечами и тяжеловатой поступью полных ног. Все те же были темные прохладные глаза с сине-оранжевым зрачком, но в черных волосах седины. Она была одета строго и богато.

Увидев Алексея, вдруг остановилась. То ли хотела вскрикнуть — овладела собой, побледнела. А потом низко поклонилась.

— Это ты. Я знаю. И я знала — ты придешь.

Алексей посмотрел на нее.

— Ты все так же прекрасна. Отец не узнал меня. А ты так мало меня видела. Как ты могла узнать?

Евлалия села на скамейку.

—Мне ли не узнать!

—Да, я узнал бы тебя тоже, где б ни встретил и в каком бы виде.

Евлалия подняла голову.

— У тебя слезы? Алексей, у тебя на глазах слезы?

Через несколько времени он сидел с ней рядом на скамейке, как всегда покойный. Говорил негромким, ровным голосом:

— Слушай, Евлалия. Семнадцать лет назад я ушел от тебя и из этого дома. Так повелел Господь. Мне не дано было семейной жизни. Я жил нищим в храме

Богородицы. И я молился. Я видел бедных и богатых, злых и добрых, святость и безумие. И мне был дан знак уйти оттуда. Я хотел отплыть в Таре. Пречистая

привела меня на родину. Я знаю, ты верна мне, ты все прежняя Евлалия, и ты должна молчать. Ты никому не скажешь, кто я. Помни, ныне я последний

здесь, я буду делать черную работу, никому не может быть трудней, чем мне.

Евлалия поцеловала ему руку.

—Я всегда знала: ты святой. Ты пришел спасать родину и нас всех. Да, я знаю. Я верна тебе.

## VII

Аглая умерла давно, и в управлении всем домом место ее заняла Евлалия. Она легко усвоила спокойную серьезность и внушительность предшественницы. Но теперь низший раб хозяйства был собственный ее муж. Никто не знал об этом. Может быть, Аглая и узнала бы его. Но у других не было к нему любви — его не замечали.

Потому ли, что напомнил отцу смутно сына, Алексей вначале получал кушанье со стола Евфимия и был предложен даже ему служающий. Он отказался. Мыл посуду, таскал воду, подметал, выносил нечистоты и у каждого старался взять труднейшую работу, облегчить кого возможно. Всех называл братьями. Ухаживал за больными, заступался за детей и слабых. Сам чинил одежду, спал в бывшей собачьей конуре на досках. Из рабов некоторые удивлялись на него. Большинство смеялось и негодовало:

—Вольный, а туда же лезет, в нашу шкуру. Дурачок, наверное, зашибленный.

—Не дурачок, а просто он прикидывается. Вот, посмотрите, стащит что-нибудь, сбежит, а мы останемся в ответе.

И его дразнили, случалось, и обливали помоями. Когда уходил в конуру, дети собирались вокруг, лаяли, кричали:

—Выходи, дам косточку!

Евлалии он не позволял заступаться за себя. Она и понимала его, и не могла спокойно видеть все. Ночью, потихоньку, приходила к конуре, плакала и целовала его руки. Потом шла к себе в спальню, и служанка думала, что она

бегают к любовнику. А она медленно сгорала. Раб засыпал, с влажными глазами и душой легкой. Он видел ее синие зрачки, милый стан широкоплечий, ногу полную, весь облик, с юности чудесный.

Но и менялся самый облик. С удивлением замечал Евфимий — все беднее, строже стала она одеваться, отпустила на свободу несколько своих рабынь, питалась хуже, меньше занималась по хозяйству, чаще уходила одна в город — там, в приходе Св. Пуденцианы, завелись у ней особые друзья.

— Дочь, — говорил Евфимий, — ты начинаешь увлекаться. Я понимаю доброту и помощь неимущим — я и сам, сколько могу, помогаю. Но во всем мера. Вспомни бедного твоего мужа. Оттого он и погиб, что не знал меры.

— А может быть, он вовсе не погиб. Быть может, мы, отец, в этом дворце, с нашими виллами в Тибуре, Байях, — ближе к гибели, чем он...

— Ну, это уж преувеличения!

Евлалия вдруг вспыхнула и покраснела.

— Отец, я лишь теперь и начинаю понимать жизнь — ближе вижу ее. Вся моя молодость прошла в теплице. И вы, прекраснейший, добрейший человек, разве

вы видите действительную жизнь? Вы видите дворцы, сады, приятные обеды, музыку и разговоры за вином и шахматами... вы взглянули бы туда, где настоящий Рим, на Целии, на Эсквiline, на Трастевере...

Ах, Рим велик, но и ужасен!

Евфимий развел руки.

— Как и мир вообще. Я не ребенок, как ты думаешь. Но лбом стену не прошибить.

— Я вчера видела девочку... Наши спасли ее... дьякон Петр и другие. Ее должны были продать Корнелию Руфу — он бывает в нашем доме!

— Уж и продать. Опять, наверно, преувеличение.

— Нет, это правда, Рим, да и мир, — прибавила Евлалия с каким-то странным выражением, — нуждаются вообще в героях и заступниках. Мы — христиане только по названию, Впрочем, святые есть... мы лишь не знаем их.

Такие разговоры мало нравились Евфимию. Он уходил в домик на берегу Тибра, где ему уж не мешали жить, как нравилось, и видеть, что хотелось.

— Издавна привыкли громить Рим за распущенность, богатства и жестокости, — говорил он философу, раскладывавшему перед ним шахматы.

— Понятно,

Рим не агнец. И надо признать, что в откровении апостола Иоанна есть кое-что... — Он сделал первый ход. — Но души, склонные к восторженности, раздувают...

Евфимию меняться было уже поздно. Мирно, как и прежде, разыгрывал он свои партии, а годы шли по-прежнему, не быстро и не медленно.

По-прежнему жил Алексей в своей конуре, и чем старше становился, тем все деятельнее: работал сам, работал за других, слабейших, утешал

обиженных, мирил поссорившихся, ходил в храм Св. Пуденция-ны, помогал Евлалии в делах благотворения и подолгу молился на досках своего дома, ночью. Его уж не дразнили и не обижали. Напротив, дети приходили с ним играть по вечерам или спасались под его защиту от побоев. На крыше конуры сидели голуби. Ни ястреб и ни кошка не могли здесь тронуть их, они курлыкали и ласково садились Алексею на плечо, на руку, как когда-то в дальнем храме Богородицы.

И так прошло много лет. И никто не узнал, кто этот странный нищий. Когда же наступило ему время уходить, то он позвал жену, сказав:

— Дай мне кольцо, которое я отдал тебе в день венчания. Господь зовет меня, я знаю. Я его надену.

Евлалия заплакала и поклонилась ему в ноги.

— Господин, зачем ты оставляешь нас так скоро?

Алексей погладил ее волосы.

Хотя и болен был, не уходил из конуры. Дети носили ему пищу, голуби держали у его одра почетный караул.

А в один день в алтаре храма Св. Пуденцианы голос произнес на Литургии:

— Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы.

Народ смутился и стал на колени.

— Пойдите и ищите, — продолжал голос, — человека Божия и просите его, чтобы он молился за Рим.

И опять добавил:

— А найдете вы его в доме Евфимия.

И тогда народ с епископами и священниками пошел к дому Евфимия, а диакон Петр, вдохновленный, вскричал:

— Это, наверное, тот, что ходил к нам со своею госпожой.

И он повел всех к месту, для него знакомому. Их встретила Евлалия. В гробу, рядом с конурой, лежало тело Алексея, все в цветах. Дети плакали, стоя на коленях. Голуби безмолвной вереницею сидели по всему краю гроба. А ласточки, вивсь над ним, пели псалом. Диакон Петр вскричал: — Да это Алексей! Мой ученик!

И со слезами он упал ко гробу. Лицо усопшего стало так юно и прекрасно, и он вновь так походил на Алексея прежнего — его тотчас узнали все, кто сколько-нибудь прежде знал. И прибежал Евфимий и заплакал тоже, тоже целовал. В руке Алексея была грамота, таинственными буквами, не человеческой рукою писанная: — Алексей Божий человек — простота, любовь, смирение и бедность.

Тогда все поняли, что он святой. Евфимий не имел уже силы упрекать Евлалию, что скрыла от него о сыне, ибо понял, что все это выше разумения человеческого.

Скоро весть о святом Алексее, любовью и молитвой заступившемся за мир, облетела город, и толпа почтительно стояла вокруг гроба — дети ближе всех. Голуби по-прежнему держали караул. Ласточек сменили жаворонки, жаворонков — перепелки, и так продолжалось, пока не прибыл сам папа Иннокентий.

Тогда тело возложили в раку и перенесли в церковь Св. Бонифация-мученика, где было выставлено оно для поклонения народа.

Когда же было похоронено, то на другую ночь перед рассветом тою же калиткой у Тибра, где когда-то выходил Алексей, в черном плаще, темном покрывале, незаметно, навсегда удалилась женская фигура, что в миру носила имя Алексеевой жены Евлалии.